**Шуба**

«Дорогой издатель, — думает девушка, — я бы давно уже выслала стихи о детстве, о Колыме, о родителях, рукопись-то готова. Но кажется, что-то упустила… Где-то была недостаточно искренней…»

Юля вздыхает и открывает новый вордовский файл.

— Последняя попытка у тебя, — предупреждает она себя вслух.

На неё смотрит не белый лист документа, а крыша их барака, застеленная без единой складочки пушистым снежным покрывалом.

Юля моментально переносится на тридцать семь лет назад, в своё десятилетнее тело, и застаёт себя в слезах. Зато рядом на кровати сидит мама, ещё живая.

Папа, тоже ещё живой, кидает дрова в печь — серый, измождённый после добывания золотого песка в вечной мерзлоте.

— Юля, — вспоминает мама про ребёнка, — ну хватит капризничать, все на Севере ходят в собачьих шубах. Папа шил, старался. Девять собак пришлось вздёрнуть. Про какую мутоновую ты говоришь, нам зарплату уже два года не платили. Сама знаешь, выдают талонами на еду понемногу…

Эту шубу папа торжественно распял на пианино: смотри, как я старался.

Юля узнаёт бездомных собак, с которыми играла после уроков. Спинка шубы — это Шарик, кусок снизу — это Атаман. А на рукавах… неужели Мухтар? Он же совсем старенький, ветеран Севера, сумел прожить на улице всю жизнь, спать в сугробах.

— Мы с тобой на рыбалку летом ходим. Ты же рыб убиваешь? Убиваешь. Я сам тебя научил, на закидушки… Чтобы было что покушать, — подключается папа. — Что за разжижение сердца?

Мама, глядя на шубу, рассказывает ей, будто оправдываясь:

— У меня в детстве случай был. Дружила я с Нинкой, а у Нинки был пёсик Дружок, смешной такой, встречал нас со школы. А время голодное… Приходим как-то со школы, а её отец нам тарелку борща наливает, каждой по большому куску мяса кладёт. Мы аж захлопали от радости! Наелись от души. Собрали кости, чтобы Дружку отдать — вот удивится, жрал-то он обычно картофельные очистки. А отец Нинки нам говорит, мол, куда собрались, вы Дружка сейчас и съели.

Мама резко встаёт, идёт к отцу, к печке — проверить рассольник.

— Или пан, или пропал, — подытоживает он. — У нас тут вопрос выживания. Или ты съешь или тебя съедят.

…На этой фразе Юля возвращается в себя. Она думает:

«Сколько таких невидимых шуб сшито из лоскутков людских надежд и слёз работяг? Все эти трудовые подвиги, сломанные судьбы — во имя дополнительного жирового слоя у власть имущих, которые «ошкуривали», дурили нас, бродячих бездомных собак?»

Она на одном дыхании пишет последнее стихотворение для книги:

У Тани шуба пахнет Шариком.

У Вовы — пахнет Атаманом.

Мухтар был псом, конечно, стареньким —

Освежевали, как барана…

Никто не спрашивает школьников.

Как голод — Север нам не тётка.

А что за мясо там, в рассольнике?

Откуда фарш на сковородке?

Мы не боимся вьюги, холода.

Собачья шуба — не дерюга.

Мы учимся молчанью смолоду

И гладим панцири друг друга.

**Аврора**

Меня назвали не Авророй, хотя я и родилась в посёлке с таким Именем.

— У всего есть Имя, — папа рассказывает спокойно и охотно, обо всём на свете, — нашу собаку зовут Дружок, а мы живём на Авроре.

Так и говорил — не в Авроре, как например, говорят «в Саратове», «в Магадане», «в Москве», а на Авроре. Как будто это и впрямь был одноимённый крейсер.

Благодаря популярной в то время песне, про крейсер «Аврора» знал каждый ребёнок. Мы с папой часто её пели по дороге в детский сад.

«Может, ты снова в тучах мохнатых

Вспышки орудий видишь вдали?

Или как прежде в черных бушлатах

Грозно шагают твои патрули?»

Не совсем понимая содержание песни, я старательно выводила голосом знакомые таинственные слова, как «тучамохната» или «пышки олуди».

Но хорошо понимала слово «бушлат». Папа такой надевал каждый день на работу и радовался, если ему давали на работе новый ватный бушлат.

Слово «вата» я тоже хорошо знала, это была незаменимая в хозяйстве вещь. Когда я из девочки превратилась в девушку, мама однажды научила меня рвать её на кусочки…

Руки у мамы — всегда красные, покрытые цыпками.

Я их хорошо знаю. Ногти полупрозрачные, розовато-белые, каждый похож на детские лопатки, какие нам выдавали воспитательницы в садике. А ладошки — мягкие и тёплые, как животик у кошки. Они гладят меня по голове перед сном, когда мама присаживается на краешек кровати и рассказывает сказки, каждый раз новые.

Иногда приходит и папа. Но чаще всего это бывает, когда я уже сплю. Сквозь сон я слышу, как мама разогревает ему еду, как он моет руки, а потом, на цыпочках, прокрадывается к моей кровати. Чувствую, как он поправляет одеяло и целует меня в макушку. В щёку родители целовали в исключительных случаях.

Папа работает на бульдозере. И название работы у моего папы красивое — бульдозерист. Он очень важный человек, потому что сидит выше, чем все другие взрослые в нашем посёлке. Чуть что, все сразу прибегают к нам и просят маму: позови Толика!

— А зачем он вам? — хотя, по лицу мамы видно, что она заранее знает, что случился очередной обвал почвы и нужен бульдозерист.

Других взрослых в нашем посёлке много.

Если посчитать их дома, то получатся все пальцы на двух руках и ещё пять пальцев на ногах. А может и больше, но я почти всех знаю — мы с их детьми моего возраста ходим в садик, дети постарше учатся в интернате в посёлке Ягодный, потому что начальной школы у нас нет. Мой брат Серёжа тоже редко, очень редко приезжает домой, только на каникулы: он живёт и учится в этом интернате.

Слово «интернат» не внушает доверия. Потому что я слышала, как мальчику его мама говорила: будешь себя так вести — сдам в интернат! И то, что Серёжа в интернате — с тех пор гложет меня больше всего на свете, но я не говорю об этом с родителями.

Папы детей работают старателями или — ох, постараюсь выговорить — золото…добытчиками. Когда папа приносит деньги, мама говорит ему: добытчик ты мой!

А слово «золото» легко произносить. Да и выглядит оно так же просто.

Обычные камешки неровной формы. Они немного похожи по цвету на наши ёлочные игрушки, только камни не такие праздничные.

Само слово «праздник» похоже на ёлочные игрушки. Пра! — пробую я слово на вкус. Буква «А» на кубике похожа на олимпийского мишку на кольцах, прорывается первым одуванчиком сквозь ещё ни о чём не подозревающую почву. А «здник» — рассыпается салютом, который показывают по телевизору, когда папа в рубашке и дома, а мама в своём крепдешиновом платье «по фигуре», похожая на артистку, даёт нам по одуряюще пахнущему апельсину.

А золото не похоже на праздник, это обычный камешек с чернотой в морщинах, похожий этим на папину шею и руки, когда он приходит с работы.

Мама рассказывала мне, что всех работников на выходе проверяют, не унёс ли он с собой камешек. Мама сказала, что люди всё равно выносят, на память. Потому что продать их никак нельзя. Выносят внутри себя, а дома - достают. Но как это, глотают его что ли?

У нас тоже есть золото. Вернее, было.

Я слепила из пластилина медведя, который съел золото. И поместила в его желудок всё, что нашла дома. Медведя поставила внутрь своего «секретика», охранять. А где я сделала этот «секретик» — забыла.

Но мама и папа, наверное, не будут ругать, потому что все в посёлке выкидывают золото прямо в траву, когда кто-то разносит весть о рейде проверяющих со специальными приборами.

Вот и дети приносят иногда в детский сад самородки, мы с ними играем, пока их не отберёт воспитательница. Нас за это ругать не будут, — она нашим родителям не рассказывает про эти игры, делает вид, что ничего и не было. Мы тут, в садике, живём иногда очень долго. Когда родители уезжают на отдалённые месторождения, мы даже забываем немного про то, что у нас где-то есть дом.

В садике мне, самой маленькой по возрасту и росту, разрешают не выходить на прогулку, когда очень холодно. Я не выпускаю из рук мамину массажную расчёску.

Белла Мазасповна, наша нянечка, водит носом и выхватывает из толпы того, кто обкакался. Горячей воды нет, поэтому она снимает штаны или задирает платье и моет попу провинившегося под ледяной водой. В детском аду стоит ор. «Наверное, это хуже, чем интернат, где живёт брат», — думаю я.

Вот и мама приходит за мной.

— Тебя били? — один и тот же вопрос, каждый раз.

— Нет, — один и тот же ответ.

Мы обе знаем, что меня били. Меня била по рукам или по щеке воспитательница. Меня била её дочь. Меня мыли под ледяной водой. Но разве это имеет значение, когда мы — Пискуновы. Мама ведёт меня домой и после долгого молчания как-бы нехотя роняет:

— Юля, ты особенная. Не такая, как все дети.

И, словно, оправдываясь:

— Все дети особенные, но ты совсем другая. Ты не лучше их, но совсем другая. И это плохо, очень плохо. Я не знаю, кем ты станешь, но знаю, что у тебя будет непростая жизнь. Гораздо сложнее, чем сейчас, в садике. Понимаешь?

— Мама, ваше золото съел мой пластилиновый медведь, а я совсем забыла, где он…

Мама отвернулась, рассматривает белые поля и чёрные зазубрины домов между ними. Мы несколько минут идём молча. Мы всегда даём друг другу время, чтобы прийти в себя. Мы никогда не плачем друг перед другом.

— Дочка, а ты знаешь, что твой дом — это снег? Папа была на вахте, а я легкомысленно подумала, что добегу до больницы… Серёжа жил в интернате. А когда пришло время, я не успела дойти, схватки начались ночью, на улице. Но я кричала и пришла одна женщина… Она тебя приняла, а потом пришла и санитарка. Твою голову обвивала моя пуповина, будто корона. И потом у тебя ещё какое-то время оставался розовый отпечаток вокруг черепа и «виноградная гроздь» на лбу.

Я не поняла части смысла, но запомнила на всякий случай.

Память, хорошая память бывает большой помехой для счастья. Потому что счастье — это сейчасье. А сейчасье может быть только с теми, кто плохо запоминает слова людей. Потому что люди, как я поняла — несчастны. Каждый — по каким-то своим причинам.

В шапке из искусственного меха, с резинкой, перевёрнутой под подбородком в виде восьмёрки и зафиксированной на макушке, с подшапкой под верхней шапкой, я шла и думала примерно об этом.

Взрослые думают, что дети всё забывают. Психологи считают, что память человека вычёркивает стрессовые ситуации, будто стирает их ластиком.

Два апельсина-лампиона, горящие в наших с Серёжей в руках — помню.

Помню, как мама склонилась надо мной, двухлетней, со своей матерью, моей бабушкой и та колола мои руки иголкой, потому что я взяла манеру спать, сомкнув руки лодочкой и положив их между ног, чтобы согреться.

Помню приступы тоски и безысходности, настолько выходящей за пределы нашей семьи, посёлка, что я не могла даже объяснить родителям, а только выла, забившись в угол. Помню, что меня водили к врачу до тех пор, пока я не научилась приспосабливаться.

Помню запах снега на разных улицах без названий.

Мама печёт петушки, наливая тесто в форму, состоящую из двух кругов с ручками. Часть петухов получаются без хвостов. Часть петухов всегда без хвостов. Я их съем в первую очередь, чтобы те почувствовали себя нужными.

Мама печёт хворост, раскатывая тесто, разрезая его на полоски, прорезая посередине каждой полоски линию, выворачивая в эту линию хвосты теста. Посыпает таз с хворостом сахарной пудрой. А на утро — все мы, как хворост, оказываемся засыпанными первым снегом. Природа не жалеет своей сахарной пудры настолько, что аж входная дверь не открывается.

Вот я засыпаю у папы на руках, закинув, как обычно, ногу к нему на плечо.

А днём кажется, что это всё тоже сон. Чувствую, что начинаю ловить ритм этого морока, приспосабливаться к нему. Ритм жизни. Мама рекомендует «дружить» с кем-то в садике. Это значит, обратить на кого-то особенное внимание, заметить его. У меня не получается.

Дочка воспитательницы меня задирает: кусается, царапает, дергает за волосы, дразнит толстой. А иногда странной. Слово «странная» звучит оскорбительно.

— Как прошёл твой день?

Мама держит меня за руку, смотрит зелёными глазами в меня. Я отмалчиваюсь. Не рассказывать же, что дочка воспитательницы в очередной раз оплевала мне лицо. Мама учила, что жаловаться — плохо.

В другой раз я жду с нетерпением маминого прихода. Во мне созрел план. Моя «чаша терпения», как говорит мама, переполнена.

Увидев маму в проходе, я подбегаю к обидчице и лупасю её от души, размахивая руками как мельница. Воспитательница, мать девочки, пытается меня оттащить. Но куда ей до меня, с моими крепкими ногами-бутылочками, с такими залысками, с моими пищащими предками!

Мама в дверях причитает: — Юля, ну что же ты делаешь? Ну, нельзя же драться!

По интонации голоса я слышу обратное: — Если ты считаешь, что пришло время, чтобы постоять за себя — действуй.

Расплата следует уже на следующий день. Воспитательница на все последующие дни моего пребывания в садике заключает меня под «арест» — сидение в отдельном манеже, куда мне кидают только одну игрушку, конструктор в виде планшета с дырочками, в который вставляются пластиковые детали, формируя различные узоры. На коробочке написано «мозаика». Я в совершенстве овладеваю навыком составления всевозможных фигур из этих цветных шестигранников.

Иногда пребывание в манеже становится круглосуточным, недельным. Мне сюда приносят и еду, словно заключённому. Но про заключённых я тогда ещё, конечно, не знала. Благодаря этой мозаике (думаю, что именно ей), мы с художниками создаём теперь мозаичные иконы для храмов России. Нет худа без добра. А по поводу заключённых, мама позже рассказывала, что в этом месте, где мы живём, глубоко в тайге, есть лагеря, обнесённые колючей проволокой. Там когда-то они и жили, заключённые. И наша основная дорога, соединяющая все посёлки, ведущая в столицу — Магадан, построена на их костях.

— Их присылали, они строили дорогу и тут же, от истощения, умирали. Но тут же привозили другую партию людей, самых умных и талантливых.

Пытаюсь представить людей, которые падают на землю, а потом приезжают другие люди и засыпают их землёй, потому что обязаны. Потому что иначе их расстреляют. Это слишком трудно представить. Становится невыносимо грустно. Хотя, я уже знаю, что такое смерть.

Ах, мама, зачем вы с папой относились ко мне с самого рождения как в равной вам, взрослой. Зачем я знала про сталинские лагеря в раннем детстве? Почему вы не повременили, не дали мне поделать свои золотые секретики, понюхать свои снега?

Наверное, вы думали, что дети не в состоянии понять всё это. Вот и рассказывали, будучи уверенными, что я всё это тут же забуду. А сейчас я постараюсь не подвести вас, быть ребёнком. Удивляться, радоваться и не задавать те вопросы, от которых вы мрачнеете.

— И мы все полетим на самолёте в отпуск, на юг, будем загорать, есть спелые фрукты, кормить обезьянок, купаться в море, — мама говорит это шёпотом, прислонив своё обветренное лицо к моему уху и стараясь быть серьёзной.

Через минуту, «плюнув» на торжественность момента, по-заговорщицки смеётся и ложится рядом со мной.

Слова из маминой фразы мне смутно знакомы.

Обезьянок я знаю — видела картинки в детской книжке. И море тоже видела на картинке. Самолёт видела на кубике — синяя буква «С» и изображением самолёта, самолёты — сосульки с крыльями и коротким задранным хвостом.

Я и сама летала — во сне, много раз.

Но чтобы так, по-настоящему, с родителями, вместе, в этой сосульке, с плывущей за окном буквой «С», как будто она — воздушный шарик…

— Мам, а там горы есть?

— Есть.

— Нам придётся на них забраться и скатиться потом.

— Почему?

— Разве не за горами загорают?

— Засыпай, давай.

— Мам, а какие они?

— Кто?

— Спелые фрукты?

— Сочные.

— Как снег?

— Как картошка по форме. Как сухофрукты по вкусу, только раскрашенные цветными карандашами. Как ягоды, только большие.

**Перевёрнутая чашка**

Север... Во временном посёлке золотодобытчиков, где я родилась, видимо, закончилось золото. Родителей — тоже золотодобытчиков — отправили в другой посёлок Магаданской области, в посёлок Горный.

Папе с мамой дали жильё, вросший в землю старый дом с «глазком» в железной двери, разделяющей комнаты. На двери имелось и откидывающееся окошко с решёткой. Говорили, что раньше в этом доме заключённым выдавали паёк. Я могла играть с этим «глазком» часами, закрывая и открывая отверстие:

— Тщук-псых-тщук-псых, — пел круглый закрывашник.

Папа работал на бульдозере, а мама устроилась в котельную, кидать уголь в большую печь. Мама рассказывала, что это очень важная работа, потому что она даёт тепло всем домам в посёлке. Меня определили в детский сад. Правда, там я не понравилась воспитательнице из-за того, что в самом начале моей «карьеры» не поделила с её дочкой казённую куклу.

Когда в детском саду случился «Праздник Деревьев», каждому ребёнку сказали выбрать дерево и, сделав костюм этого дерева, рассказать про него стихотворение. Я выбрала берёзку. Но воспитательница сказала, что с моим «туловищем нельзя быть берёзкой» и что «лучше выбери дубок».

Вечером мама пришла в садик за мной, и я бросилась к ней с рыданиями и сообщила о беде, – о том, что чувствую себя в душе берёзой, а мне навязывает какой-то дубок. Мама поговорила с воспитательницей и на празднике я всё же была берёзкой. «Деревьям» полагалось исполнить песню про «своё» дерево.

— Ми-ми-ми-ми-рее-до-до-сии-ляя», — затянула «берёзка», то есть я, выучив в свои шесть лет ноты по самоучителю.

— Пой словами, а не нотами! — шипела Белла Мазасповна из-за ширмы. С того дня я и перестала петь песни вслух, особенно словами.

В эти беззаботные времена я была «спасателем» мышат: если находила их, маленьких, без мамы-мыши, в теплотрассе, то забирала тайно домой и кормила. В один из выходных, папа взял инструменты и пошёл за дом, где находился небольшой участок земли.

— Так-так-так!», — стучал молоток.

— Жу-же-ли-ца! — отвечала пила. Папа строил «питомник» для мышей, с настоящей дверью, застеклёнными окнами и маленькой мебелью.

Несколько лет мы с подружками играли тут в «войнушку» и «резиночки», жевали гудрон и шили новые костюмы для мышей, вдохновлённые журналом «Бурда-мода». Летом мы с родителями «доили» на сопках иван-чай, собирали голубику, бруснику, шиповник, грибы и шишки.

С какого-то момента с продуктами питания на Севере стало совсем худо. Продукты стали выдавать в обмен на талоны, их давали родителям вместо зарплаты.

— Зззз-нзззыыы-ззы-ззы, — сама для себя пела муха, попавшая между оконных рам магазина.

Как-то мама «поскребла по сусекам» (то есть залезла во все карманы курток, шуб и пальто, во все сумки и полки, насобирала несколько копеек), пошла в магазин и купила две маленькие сморщенные свеклы.

— Сейчас будет борщ!» — напевала она, доставая кастрюлю.

— Орщщщ», – вторили с братом Серёжей, будто эхо, и хохотали от восторга.

Мама разрезала свеклу напополам. Свекла оказалась гнилая. Мама сказала, что ничего страшного, есть еще одна. Но вторая тоже оказалась гнилой. Тогда мама положила четыре половинки на стол, села на табуретку и тихо заплакала, отвернувшись к стене.

— Новые песни придумала жизнь... Не надо, ребята, о песне тужить, — тихонько запел брат любимую песню, — не надо, не надо, не надо, друзья...

Мама повернувшись к нам, улыбнулась и стала подпевать:

— Гррренада, Гррренада, Гренаааада моя!

Но самой скучной едой казался «суп космонавтов». Мы Серёжей не желали есть его на обед из-за подозрительных серых кружочков, которые из маленьких превращались в большие, разбухая. Но мама рассказывала, интересные истории про космонавтов и про то, что этот суп они едят на космических кораблях.

— Если вы будете есть этот суп, то станете смелыми, как они, — утверждала мама. Поэтому мы его ели. И действительно, были с Серёжей смелыми. Например, если во время прогулки видели медведя у городской свалки, то просто тихо разворачивались и шли домой — делали так, как велели родители.

Однажды, ранним вечером, когда стали зажигаться фонари и звёзды, мама уложила нас спать и стала читать «Голубую чашку» Гайдара.

Как только мама ушла, мы с братом вскочили с кроватей, встали на цыпочки у окна и подули на снег, — пушистый ледяной мох, наросший на него.

Казалось, что звёзды в серо-голубом небе поют, а снежинки им подыгрывают, тихо звеня серебром: «Тсссссс…».

— Серёжа, смотри…Звёздочки похожи на кружочки из «супа космонавтов», а небо – на бульон в чашке! Только она перевёрнута вниз головой, но ничего не проливается на землю! — зашептала я брату на ухо.

— Только бы никто не разбил эту чашку! —ответил Серёжа, — она у нас одна.